

Некоторые реки обходятся без пойм. С тех пор как шел и слабел ледник, эти реки, куцые и прямые, не успели намыть долин, уперлись в суглинки, которые льды натерли друг об друга. Поймы образуются в долинах. Их при малейшей возможности создает речной организм. Так организм женщины ищет повод для зачатия.

Пойми, пойма! Прежде чем труд русла сделал тебя заливной частью речной долины, прежде чем ты отдалась во власть половодий и паводков, превзойдя ложе по ширине в поперечнике во много раз, прежде чем твое дно заросло планктоном и подводными лугами, прошла тысяча лет. Русло плутает, змеится излучинами по дну, ища свой единственный путь, то ненадолго спрямляясь, то искривляясь. Один берег размывается, вгибается оголовками, другой намывается, выгорбливается островными

ухвостьями. Сильные, упрямые глины держат берега, не дают вольготно разлечься пойменной воде. Слабые песок и галечник не мешают береговому размыву и не унимают возведения поймы, образуя на выпуклых участках берега отмели — побочни. Отмель хочет стать поймой. Она исподволь зарастает лесом, кустом и осокой в человеческий рост, задерняется, и, как только это происходит, русло преобразуется.

Поэма поймы пишется половодьем, словесная сбывчивость берет свое: «пойма» — от «поимати», заливать. Половодье заполняется отраженным небом, сгущает песок и гальку наилком — залогом плодородья. Зачерствевшая дернина теперь спасает берега от размыва, как устоявшийся язык страшует от детского нащупывания словоформы, предлагая универсальную, уточненную веками. Но половодье осаживается, контур поймы меняется, как лицо перелицовывается возрастом. Блуждание ложа оставляет ложбины и протоки, озера и серповидные староречья, гряды и косы, островки-останцы. Границы воды охраняются камышом и рогозом в коричневой плюшевой шапке. В заводях лениво дрейфуют желтые кубышки и мертвенные лилии. Малая выпь и черная крачка не воюют с вертишейкой и золотистой щуркой. Язь и налим, карп и пескарь, ерш и карась соседствуют, не питаются один другим. Половодья дают пойме рост, и она входит в пору зрелости. Высокая пойма — высокий выпуклый берег. Он заселяется людьми, которые многолетне, старательно изводят пойменные накопления порубками и покосами, ужением и охотой, отъятием сушняка и топляка.

В пойме отражается меньше, все меньше неба, и мутнеющий паводок норовит потопить, вытеснить человеческое жилище. Так и сражаются они, пока кто-то не уступит — либо люди не уйдут вглубь суши, либо река не иссякнет.

Город Ардатов Симбирской губернии жил в близкой поемности реки Алатырь от ростополя до ростополя — так именуют здесь половодье. И хорошо ловится в эту пору, когда идет вода, только сорожняк — невеликая плотвица, пять штук фунт.

На берегу Алатыря, самой по себе реки дюжинной, не выдающейся по сравнению с главным водотоком — Сурой —

ни шириной, ни глубиной, ни даже красотой и прирусловой сродненностью с этим стремнистым берегом, покойно сидели на обрыве, на яру, на резком уступе три ардатовских мещанина.

Отличие этих среднего рода людей от крестьян заключалось только в относительной малочисленности и согласии старосты с их образом жизни. Двое из них занимались извозом. Печать податного сословия еще не стерлась с их сельских физиономий. В городских собраниях они не участвовали по причине безынтересности и накопленных недоимок. Книжек, обличающих мещан за общественное бездействие, и газет, призывающих напрасное сословие упразднить, они не читывали. Да и городишко их постоянного проживания мало чем — разве количеством вывесок над лавками — отличался от деревень, из которых они, в свое время освобожденные, пришли. Своим нынешним неопределенным положением береговые сидельцы были обязаны Екатерине Великой. Коровы по-прежнему паслись на улицах, фонари не горели, и не вляпаться вечером в лепеху позволяло только раннее, летом засветло, упаковывание ко сну, угнезживание в постелях. Сады и огороды оставались основным средством прокормления. Но весной яблонный и вишневый Ардатов был чудотворно пригож!

Андрон Татаринев раньше тоже занимался по гужевой части, но потерял ногу, раздробленную груженой телегой, и скакал на деревяшке, похожей на топорище, только толще у основания. Евстафий Даюшов по прозвищу Тавраш происходил из чувашей, но не особо любил, когда ему об этом напоминали, тем более что фамилия Татаринев тоже корнем срывалась в инородчество. Кузьма Милованов родился не пойми от кого, вымахал стоеросово и, как многие высокорослые, отличался незлобивостью и смутительностью. Горожане сидели бесхмельно, поевши дома хлеба с луком и минуя чапок, поскольку до спожинок — Успенья Пресвятой Богородицы — полагалось трезвиться. Трезвение рекомендовалось и во все другие дни, но выдержать воздержание не давала жизненная практика.

При таком внешнем ограничении им ничего не оставалось, как беседовать. Сперва они обсудили тему скорого обогащения через кладоискательство.

— Поклажи тайной силой вытягивают, — сказал повывадавший мир Андрон.

— А чем берут? — поинтересовался обычно бесстрастный — по-местному тенетник — Тавраш. Про таких говорят: кому не горячо, тому и не болячо.

— А журавцом, — со знанием дела сообщил Андрон.

— Каким таким журавцом? — встрепенулся Милованов. — Гнутой палкой, что купола крепит? От ведь вытвораживашь! Перекрестись, андроны едут, — обыграл он имя Татаринова.

Тот немного подумал, не обидеться ли, но не стал портить хороший разговор и впечатление о себе.

— Ково мне враковать? — с помедлением и растяжкой проговорил Андрон. — Старики байкали из Фарафонтихи. Они первые рыльщики в наших краях.

— А ты бывал в Фарафонтихе той? — уел его теперь Тавраш.

— Бывать не бывал, а слыхом слыхал, — решил признаться Татаринов и пошел частить, пока не прервали: — Поклажи все заговоренные до прихода Антихриста. Каждую свой бес-кладовик, особый приставник сторожит. Умопомрачение насылат и непробудимый сон.

— Ну и что тады толковать? Ежли помрачение, то и соваться попусту — парманом сделашься, будешь ночами по кривам скакать, — чуваш притворно зевнул.

— А не всем! — Татаринов поднял узловатый палец. — Не всем посылатся. На то особый заговор есть. Его мало кто знат.

— А ты знашь? — недоверчиво спросил Тавраш, продолжая строить равнодушие. — Я слыхал, главно, чтоб у копателей лопата блестяла. Тады и фарт будет.

— Не в лопате фарт, — хитро прищурился одноногий.

— Так знашь? Откель?

— Оттель! Со мной один жох в больнице лежал, поведал.

— Небесчего увечный ты, а врешь, — усомнился Кузьма. — Разъездился языком, как мордва на Богоявление. Что ж тебе тот ведун ногу не заговорил?

Татаринов уже занес кулак, но передумал. Зато Даюшов приосанился и порумянил. С мордвой у чувашей были свои незапамятные счета. Чуваш мордвина не иначе как тыковником кликал.

А Кузьма напомнил старую насмешку: перед Крещением по мордовскому селу никто не мог проехать, поскольку туземные запрягали всех по очереди лошадей и гоняли кругами, чтобы шайтан не испортил. Таврашу слышалось, будто Милованов натутыкивал — наговаривал на мордву, и ему это пришлось по нраву, тем более что мордовское население тяготеет к хлыстовству, а Евстафия нездорово интересовало это занятие.

— Так япошка — он русского заговора не понимает! — нашелся инвалид довольно скоро.

— А бес понимает? — не унимался Милованов.

— Намо, понимает! Чай, по всей земле летат. Раи дурак скажет, что не летат.

— Ну и каков заговор тот? — не утерпел Тавраш.

— А вот тут Милованов Святое Хрещенье растово спомнил. В самую тютельку попал.

— Чевой-то? — засмутился Кузьма.

— А тово! У тех поклаж через три года приставники сменяются. Есть таки травы, коим сила от Бога дана: огня, царь-трава, Петров хрест да плакун. На Иоанна Богослова берут тово плакуна, загнибают верхушку и оставляют до Троицы. А на Троицу ту траву с корнем несут к обедне. Поп траве молитву дает, и делатся годна для кладов, печати приставника отпирает.

— Да заговор-то што? — не выдержал Тавраш. — Трава, трава... А то мы травы не видали!

Татариннов перекрестился на четыре стороны и завел:

— Приступаю я, раб Божий, к поклаже сей, окружаю в ширину и глубину, утверждаю Божьим словом: пошли мне, Господи, помощника, архангела Уриила, отогнать демонскую силу. Пошли, Господи, грозного Илию пророка с огненной колесницей, с громовым ударом истребить нечистые силы от поклажи сей. Утверждаю поклажу сию на камне Алатыре, замок отмыкаю в небе, ключ в море; как морю огненну не бывать, из моря ключей, кроме меня, не вынимать, а замка не отпирать. Аминь! Слышь, Кузьма? Камень-то Алатырь у нас под боком — верст сорок не набежишь. И река наша по ему прозывается.

Обыватели ошеломленно молчали, чем рассказчик не преминул воспользоваться:

— Ну, ладно! Не хошь, Кузьма, журавцом действовать, можно и коромыслом отпереть с такой-то защитой. Главно, руками до замка не дотыкаться, а деньги брать из середины, чтоб нечистой печати не коснуться. А то такой подвох тебе учинят, что ослепнешь.

— А как оборониться? — опасливо спросил Евстафий, как будто завтра собирался доставать клад.

— Глаза промыть Хрещенской водою с такими словами: «Матушка Божоявленска вода, покажи в себе от небеси и земли, сквозь камня и песка и красной глины, поклажу во славу всех святых. Аминь!»

— Аминь! — повторили приятели и перекрестились теперь оба.

После благоговейной паузы недоверчивый Кузьма пошел на-супротив.

— Виден Симбирск, на горе, да семь день идем. Что ж это, всякий тать, что замки подламыват, заговоры знат и плакун-траву в карман пхат?

— Охма! Вымахал ты большой тагалай, а ума, как у девки, — позволил себе покуражиться Андрон. — Зачем им плакун? На простое воровство спрыг-травы есть. Десять лет на человечьей крови растет, а тониной с волосок. Вор ее под ноготь сует, палец к замку прикладывает, замок и спрыгиват.

На это возражений не последовало. Только Тавраш присвистнул для разрядки:

— Фома богатый в одной лавке сертучок сцопал, в другой картузик слизал.

Посмеялись из вежливости. После непродолжительного безмолвия одноногий решил спросить Милованова:

— Чевой-то тебе губу так разнесло? Ишь, болона кака!

Ардатовский этикет любопытства к чужому здравью не поощрял — это считалось делом бабьим. Но на нижней губе Кузьмы, захватывая угол рта, действительно вздулся порядочный веред. Кожа вокруг покраснела и неприятно блестела, как лопата кладоискателя.

— Дерябится? — спросил Даюшов, до этого не обращавший на гнойный желвак никакого внимания.

— Да вот лихой приключился, — виновато сказал Милованов. — Я уж его чем не ковырял — не берет, зараза! Намо, лихой. По действию сатанину. Думал, знахарь спользит. В Канаклейке живет. Баще его нету шептуна. Да не пошто поехал, отлучка ему случилась. Уж меня дедюха ночью бьет.

— Какой знахарь! — возмутился только что рассказывавший про прыг-траву под ногтем Татаринов. — К дохтуру надоть. У нас дохтур новый в земской больнице. Такой натурный! Культя у меня ломила в самом вертуху. Он помял, мазь прописал, и отпустило. Поди к дохтуру-то. А то, брат, вон как ты размодел! Болько, небось?

— Гораз боленько, а то! Но дай боли волю, полежав, да умрешь, — смудрил Милованов.

— Куды помрешь! Ты вон какой адамина, — уверенно сказал Татаринов. — Тезево подбери да иди. Он денег не берет. Справный дохтур, мужицкий.

— Да у меня одежда неахтительна, — признался скрепя сердце Кузьма.

— А чево ему твоя одежда, — теплохладно высказался Даюшов. — Все одно разнагишит.

— На боль свой заговор имется, — деловито сообщил Андрон, поклонник медицины. — «Как летит матушка громова стрела, так бы и летали уроки и призоры, озевы, худобища, болестища». Дохтур возьмет ножик вострый, разукладный да вскрыет шишак поганый. Свет увидишь!

— Не то пойтить? — неуверенно сказал Милованов. — А то лежу вербушки, не повернусь. Болемога так-то жить!

— Вот и ступай, — приказал Татаринов. — А теперь прощайте!

Он без лишних сборов, легко, как на настоящую, вскочил на древесную свою ногу и попрыгал по направлению к переулку, в котором обитал, на хромом ходу напевая:

Как жена мужа зарезала

Вострым ножичком булатным, разукладным...

— Пойти нешт? — тоскливо и неуверенно обратился Кузьма к оставшемуся Таврашу.

— Боль врача ищет, — безразлично сказал тот.

— А поклажи на апостола Симона Зилота ищут, — вдруг вернулся Кузьма к теме. — От его фамилии золото произошло. И святителю Иоанну Великоновгородскому молебны служат, чтобы, значит, земля отпустила. Он, чай, беса в лагунок запечатал. И тот служил ему. А куды из бутылки денешься?

Евстафий уже и думать о несбыточном забыл. А может, и не забыл...

— Хвораю я, — сказал Кузьма в пустоту. — Рвет из меня каждый день.

— Будет тебе алырить-то! — отмахнулся Тавраш. — Ярманка скоро.

Грядущая ярмарка никакого отношения к состоянию Милованова не имела, однако он понимающе покивал. Зуонов, то есть событий, случилось в Ардатове немного.

Получку в земской управе выдавали 20-го числа. Бухгалтер уездного казначейства Брыканов отпустил жалованье сам себе в сумме 20 рублей и расписался в ведомости. Кроме того, в преддверии начала учебного года он произвел удержание у педагогов в пользу Российского общества Красного креста и составил список пожертвований в пользу учительского комитета. Пожертвовали близко к минимуму. Выдал бухгалтер денежное довольствие и всем отделам — статистическому, продовольственному, агрономическому и врачебно-санитарному. Только новый доктор, как обычно, проманкировал.

«Не нуждается!» — презрительно подумал Брыканов и сызнава удивился непомерному разрастанию штата: еще недавно со всеми делами управлялись четыре души. В помещении управы с девяти до трех пополудни заседал и нотариус, и воинское присутствие находилось тут же, только командир гарнизона и одновременно делопроизводитель, надворный советник с фамилией, как бы поприличней сказать, Червяк заседал в арендуемом доме купца Крашенинникова. Гарнизон Ардатова представлял собою одну роту Томского полка, помещавшуюся в двух казармах. Воинская часть состояла из писарской и конвойной команды, охраняющей тюрьму, и нестроевой хозчасти в количестве 30 недоносков.

К городу своего проживания Брыканов относился индифферентно. Глухомань. Банковское учреждение одно-единое с ежегодным оборотом до 120000 рублей. Из развлечений базары по четвергам и воскресеньям да ярмарки постами. Пристаней и водяных переправ нет. Железная дорога за десять верст. Памятников истории нет. Брыканову не приходило в голову, что время накопительно, и то, что сегодня вызывает зевоту обычностью, завтра в случае утраты возбудит гнетущую тоску, а в случае случайной сохранности станет не просто памятником, а местом поклонения.

В день полочки можно было всей семье поесть мясного, но шел Успенский пост. Свиной летом не кололи из-за жары, а свининки хотелось до чрезвычайности — с жирком и прожарочкой! Да хоть бы лоскутик с бочка или хрящик шейного зареза! Однако опять придется хлебать муру на аржаных сухарях. Ардаговцы свинину предпочитали говядине, едва ли отличаясь в этом от других жителей империи. Свинья скотина скверна, но на столе перва. Бухгалтер заставил себя вспомнить изрубленный в лохмотья, от начала времен не обтиравшийся стольчак в мясной лавке, чтобы прогнать бесполезные мечты.

Брыканов запер присутствие и облегчительно подумал, что овсяный Буинский уезд, где он имел несчастье родиться, еще глуше Ардаговского. Там вообще в лесу чувашаи пеньку молятся, а степь кишит татарами — главными скупщиками в Поволжье. Буинск издавна славился еще и портными, среди которых татары тоже преобладают. Да и огородники они первейшие. Русских разве что в Тетюшах большинство.

Чуваши разводили хмель, загибали ободья, долбили корыта, драли лыки да высиживали смолу. Ловили в силки рябчиков и куропаток, чем страшно гордились: дичь у них покупали чуть ли не в самой Казани. Считали себя выше и чище русских, потому что ели не щи, а салму из гороховой муки, запивая кушанье катыком, и в целом больше слушали татар, а у русских переняли только самовары.

Сам-то Брыканов появился на свет в селе Киять, на винокуренном заводе в усадьбе Терениных. Киять славилась Покровской ярмаркой, куда с мануфактурным и галантерейным товаром

съезжались купцы из Симбирска, Алатыря, Тетюшей, Цивильска и Чебоксар и куда брал его с собой отец задолго до обучения бухгалтерскому делу. У Брыканова защекотало в носу от проснувшейся памяти запахов — овчин, шерсти, кож и дегтя, залязгало в ушах от разбираемых серпов, кос и лопатных черен, закрипело трением друг об дружку щепных изделий, загудело страданием продаваемых коров симментальской, бестужевской и пашковской пород в калдах, заклохотало курами Рот-Айланд, Ланкшан и Миноро, завизжало йоркширскими свиньями, заблекотало гортанно каракулевыми овцами.

Симфония в исполнении ярмарочного оркестра детства отчего-то расстроила Брыканова. Пораздумав, он завернул в питейное и купил шкалик, рассудив, что эта норма в грех не зачтется. С подъемом преодолевал он дальнейший путь мимо покосившихся заборов, окон в ажурных наличниках, хлобыщущих крыльями кур и невозмутимых коз, мимо опрятно сметанных копен во дворах. Ардатов пах мездровой стружаниной — многие варили на продажу клей, — навозом, молоком. Но дух доходящих по садам яблочко, тонко-сладкий, с терпчинкой, перешибал все. «Отцы терпко яблочко ели, а у детей оскомина», — с чего-то взбрело Брыканову, и он ускорил шаг. Впереди маячила кубовая пожарная каланча.

Секретарь земской управы Пикчайкин закончил связочную опись цен на продукты питания, строительные материалы и фураж по волостям и подшил переписку уездного отдела народного образования с учителями о выдаче наградных Евангелий, валяющуюся не разобранной с мая. Планы и чертежи дома караульной роты, водокачки и пожарного депо, а также бычатника и свинарника в селе Малмыжка Пикчайкин оставил на потом. К формулярам уездного лесничего, его помощника и лесных десятников тоже решил погодить приступить. Дело об учреждении и ведении Вабиной И. В. опеки над имуществом и малолетними детьми умершей жены цехового г. Ардатова Бурдовцевой А. В. ее мужем Бурдовцевым С. С. и читать не стал, плюнул. Вабина эта, родная сестра покойной, была многолетней любовницей Бурдовцева и смерти законной супруги они желали нескрываемо, а детей лучше было определить в приют, чем под руку лихой мачехи.

Зато с интересом прочел Пикчайкин очередную челобитную Мякина, лавочника, на ближайшего конкурента — держателя питейного заведения Жидкова, прежде арестовывавшегося по доносу вышеуказанного Мякина за беспатентную торговлю, о том, что в заведении наблюдается «недочет в деньгах, изрядная усушка вина и рассыропка». «Сахар, черти, добавляют. Я так и знал!», — расшифровал Пикчайкин «рассыропку» и поклялся себе, что больше к Жидкову ни ногой. Тем более, заборная книжка напротив его фамилии давно была переполнена записями об отпуске в кредит.

Вообще Пикчайкин увлекался чтением протоколов и отчетов, особенно касающихся уголовных дел и алкоголя. Например, такого сорта: «Заведения трактирного промысла одновременно с продажей вина и пива обязаны по требованию посетителей подавать горячую пищу и всевозможные закуски. Таким образом, человеческий организм, подкрепленный пищей, с большей силой может бороться с разрушительным действием вина и пива. Между тем ни в одной из 20 открытых пивных лавок, во избежание причисления к заведениям трактирного промысла, не открыта кухня для приготовления кушаний, ни даже холодных маркитантских закусок, и вся цель этих лавок заключается в достижении возможно большего потребления населением пива. Цель эта достигается с большим успехом, потому что пиво, не обладая крепостью алкоголя, может потребляться в несравненно большем количестве сравнительно с вином. Достаточно 1/20 ведра казенного вина стоимостью в 40 к., чтобы самый сильный человек отказался от дальнейшего употребления. Между тем для достижения той же степени опьянения нужно в 10 раз больше пива, стоимость которого будет выше 1 рубля. Это с несомненностью доказывает вред для населения распивочных пивных лавок вообще».

Пикчайкин живо представлял себе описанное количество напитков, сомневался в справедливости утверждений санитарного инспектора и как бы даже пьянел от чтения. Предложение о приеме пищи вне дома вызывало у него тошнотворный протест.

Еще ему попалось на глаза полгода как удовлетворенное заявление прибывшего на место удравшего доктора в земскую больницу: «Имею честь заявить о своем желании занять место

врача и сообщить о себе следующие сведения: Киевский университет я окончил в 1903 году, с марта 1904 года до января 1905 года состоял врачом Киевского лазарета Красного Креста в г. Чите. Необходимыми условиями поступления на службу ставлю на личность при больнице всего необходимого для самой широкой работы и сухой, теплой квартиры». Ишь, какой! Сухую и теплую ему, а мы помирай! Но заявление он подшил и номер присвоил.

Перед уходом секретарь оглядел свое хозяйство и покачал лысоватой головой: папки с докладами, отчетами, протоколами и постановлениями, приходно-расходными ведомостями, сметами, статистикой и письмами не умещались на полках и кое-где были упихнуты силой. Надел картуз, повел плечами под пропотевшей за день рубахой синего сатина и отправился восвояси, по дороге шуганув ос, недвижно стоявших над обломком крохотного переспелого арбуза, в который секретарь земской управы мало что не наступил береженным, отцовским еще сапогом.

Предводитель уездного дворянства Владимир Иванович Чарыков вынужденно отправлял должность председателя уездного земского собрания. Он сидел перед накрытым завтраком у себя в Адоевщине, на левом берегу Алатыря, и нерадостно думал о предстоящем съезде в уездном центре.

Вернее, сидел предводитель в Карауловке, в доме Веры Александровны Ланской, старой девы, которой некогда принадлежали эти земли. Адоевщина, большое село, простерлась по другую сторону Миюсского оврага, отделявшего его от Карауловки, деревни тоже раскидистой. Чарыков к завтраку не прикасался и безо всякой причины внимательно смотрел на храм Рождества Пресвятой Богородицы, видный в окно. На этот храм, возводившийся 12 лет, Вера Александровна ухнула 300000 рублей. В церковном дворе она в склепе и упокоилась, но ненадолго. Останки великой добродееи вырыли и увезли в Москву, а в доме с нетронутым ныне завтраком обосновался граф Ланской Михаил Сергеевич — полная противоположность предшественницы, крепостник в осудительном литературном смысле и самодур в смысле общерусском. От его ярости, видимо, село Адоевщина и приобрело начальную адскую литературу. Увлекающиеся марксистским учением

коллеги рассказывали, что Энгельс, сподвижник основоположника (здесь Владимир Иванович коротко усмехнулся), даже упомянул Ланского в какой-то статейке, поведав просвещенной Европе, как граф, прознав, что крестьян предполагается оставить на той земле, на которой застанет введение Положения, распорядился переселить их из Одоевщины на правобережье, где земля состояла из глины пополам с песком. Там они после февраля 1861 года и жили подаянием.

Почувяв, что литераторы одолевают и крепостное право вот-вот будет упразднено, Ланской продал свои обильные левобережные угодья отцу предводителя, Ивану Емельяновичу Чарыкову, артиллерии капитану и предводителю тож, а также почетному мировому судье Ардатовского уездного суда. Род Чарыковых записан был в VI части дворянской родословной книги Симбирской губернии с 1859 года. Иван Емельянович оставил миру четырех сыновей. Все они пошли по земской линии. Владимир, ныне лишившийся аппетита, Всеволод, чиновник по крестьянским делам, Дмитрий, подпоручик и земский начальник первого участка Ардатовской управы, и Николай, отставной штабс-капитан. Два последних входили в состав гласных Ардатовского земского собрания. Владимир, слуга покорный, на них и опирался. Ну, конечно, и на других представителей дворянского сословия. Без друзей да без связи — как без мази: телега жизни скрипит до зубной боли. Чего стоил один князь Вадбольский Александр Иванович — неподменный Рюрикович, между прочим. Да и Березовский Александр Елеазарович, потомственный дворянин, в прошлом году избранный председателем земской управы. Красавец, молод, инициативен. Агроном 1-й степени, сельскохозяйственный институт окончил, в землеустроительной комиссии трудится. И Мельгунов Левушка, Лев Васильевич, неплох! Но редет лес дворянский, основа державная, редет и разоряется.

Земские гласные избирались по трем куриям: от землевладельцев, от городских избирателей и от сельских обществ. Но земские съезды часто откладывались, а если проводились, то в последние годы при пространнных речах и зычных криках с мест — в Ардатове силу взял сполошливый «Союз освобождения». Они и так мастера поорать как на пожаре, а теперь, говорят, в партию

переделались. А впереди — выборы. Степенные, аршин проглотившие от стеснения крестьяне, из которых гласных в конце века набиралось до 40%, теперь, в начале следующего века, представляли в земствах единично, на правах антиков. Интеллигенции из мещан, выучившейся в земских же гимназиях и училищах, попечителем которых также являлся Владимир Иванович, не перед кем стало демонстрировать воспитание. Самоуправленческая молодежь брала за горло. Да, правду сказать, и прежние тьмочисленные крестьяне лаптем щи не хлебали, а владели домами, кустарными промыслами, скупали большими партиями крестьянский хлеб на пристанях Волги и Суры и в прилегающих уездах, начальствовали старостами сходов и мировыми судьями. Оно понятно: не было бы лапотника, не было бы и бархатника. Но ведь и богатство — вода: пришла и ушла.

Подчинялась управа уездная управе губернской, находящейся в Симбирске, в только что достроенном здании на углу Большой Саратовской и Покровской. Ардатов застраивался курмашами — прямоугольными порядками, образующими кварталы, глядящими на пойму Алатыря, и все присутственные здания располагались на базарной площади, как и лучшие дома города, и торговые заведения, а также Никольский и Свято-Троицкий собор с богатой плащаницей малинового бархата и огромным паникадиллом, пожертвованным купцом Мурашкиным. За исключением площади, ни одной мощеной улицы в Ардатове не было. Конечно, праздничный Богородичный образ храма, который Владимир Иванович созерцал в венецианское окно, ни с какими паникадилами в сравнение не шел. Московские изографы украсили икону искуснейшей резьбой по слоновой кости, и каждая деталь представляла собой законченную картину на библейские темы.

Уездная земская управа ведала устройством и содержанием плохих дорог, запоздалой земской почтой с телеграфным аппаратом, отгороженным решеткой, школами и больницами, богадельнями, приютами и ремеслами. Вдобавок надзирала управа за местной торговлей и промышленностью, ветслужбой и страхованием. Главным же и самым неуспешным занятием оставалась раскладка и контроль за сбором денежных и натуральных повинностей и организация кредита.

Промышленность ардатовская отличалась малочисленностью. На спичечном, поташном и кожевенном заводах работало с наугой человек до десяти, а то и пяти не набиралось. Да и откуда ей, промышленности, взяться, если подряды мещанам давались до четырех тысяч рублей и производства они имели право заводить только ремесленные? Мелкой торговлишкой, извозом и перебивались обыватели, содержали постоянные дворы да трактиры — это еще хорошо, а то служили приказчиками и торговыми агентами, мелкими чиновниками, посредничали на перепродаже хлеба, кож, мяса и сала, наемничали на отходе чем приведется. Сдавали жилишко, ютятся во флигелях, сбывали дрова, сводя лес, ладили телеги и сани, выделывали колеса, дуги и кадки, резали ложки и плошки, гнали деготь, плели кружева, ткали пестрядь, вязали платки да носки из кроличьего пуха. Калашникам только, сапожникам да винным откупщикам удавалось отложить на черный день. Ну, еще краснодеревщикам, освоившим изогнутую паром «венскую» мебель. А так — голь перекатная, купило притупило.

Владимир Иванович отпил кофею и заглянул в отчет о прошлогодних ярмарках уезда. 13 ярмарок в Талызине и Тазине, Алашеевке, Четвертакове, Керамсурке, Липовке, Апраксине, Знаменском, Козловке, Маколове, Дубровках, Тетюшах и Сарбаеве. Разница между привозом и продажей составила 53%. Значит, купили только примерно половину того, что привезли. Для примера, в 1892 году на ярмарках губернии было реализовано 75% привезенной продукции. И больше половины товаров составляли ткани. А нынче на шерстяные самоделы и фабричное сукно спрос упал. На краски и москательный товар — снижается неуклонно. Оборот металлоизделий на 80% сократился. В Ардатове прошлый год показал цифру продаж смехотворную — 14000. А что Центральный статкомитет изображает? «Общий размер ярмарочных оборотов по привозу и продаже товаров определяется в один миллиард рублей на 16000 ярмарок, что составляет, в среднем на одного жителя, до восьми рублей, а на одну ярмарку — до 63 тысяч».

Где те 8 рублей? Откуда взять 63 тысячи? Одна радость, к открытию площадь выметут и с улиц навоз приберут да из затрапезы вылезут, принарядятся. Через город перегоняют в год от 350

до 400 гуртов, а это 10000-15000 голов крупного рогатого скота. Так и останется Ардатов в истории скотопрогонным трактом. Да еще «русская кочанная» уезд прославит (сам-то помещик Чарыков из сортов капусты предпочитал «пудовую» и «браунколь»). Осенью из Ардатова в Симбирск, Самару, да и по всей Волге перекочевывали до 30 тысяч кочанов. Пол-уезда баб сходилось на «помочь» при квашении. Ну и тележники ардаатовцы неплохие.

И ведь фактически при крепнущем капитализме царит на ярмарках феодальный обмен! Привезут крестьяне из имений хлеб, муку, сало-мясо да мед, да сельхозинвентарь домодельный. Это все приказчики скупают и в лавках перепродадут. А увезут по деревням сахар, соль да, словно индейцы американские, польстятся на платки, ленты, бусы, серьги-кольца для баб и всякие петушки-свистушки для ребятишек. Ну, лапти еще. Куда ж без лаптей! Сами-то плеть вконец разучились, что ли? Ну, французскую фальшивую борьбу посмотрят да водевиль «Жена ой-ой, а муж увы». Пошлость одна! То ли дело на суконной фабрике в Языкове — там купец Степанов такой театр закатил! Причем играют сплошь фабричные, да так, что слеза прошибает. Московского дирижера выписал, консерваторца, для духового оркестра, из 50 деревенских ребят собранного, и хор балалаечников впридачу «Из-за острова на стрежень» выводит. Вот тебе и пьеса «Вишневый сад»!

Земская печать не уставала трубить, что периодическая торговля в России преобладает не просто так, а избавляя мелкого производителя от разорительной власти скупщиков и торговцев. Но на самом деле главенствовал в торговле по-прежнему развоз-разнос. Владимир Иванович кисло припомнил, как земское собрание отклонило ходатайство о проведении очередной ярмарки, пополняющей, между прочим, их же, земцев, хилый бюджет, по тем соображениям, что ярмарка, мол, служит в ущерб жителям, собирающимся не столько для торговли, сколько «для пьянства и праздного препровождения времени». А то они между ярмарками пересыхают! Хотя, поди пойми, в Общество народного трезвения в очередь записывались. После такого воспоминания Чарыков положил в рот прозрачный срезок швейцарского сыру и решил подумать о приятном.

Приятное в его земской повинности, что ни говори, составляла медицина. Считанные годы назад на весь уезд было четыре врача. Бал правили фельдшеры, а уж они лекари знатные! Да ведь и то сказать — оклад докторский поболее фельдшерского, а средства откуда? Лебеда придорожная пропагандировалась как полезный пищевой продукт. Детская смертность колоссальная, эпидемии — от холеры до гриппа. И население при этом росло как на дрожжах. А в 1901-м уже 5 врачей, 1 фармацевт, 4 акушерки и 9 фельдшеров. Теперь докторов уже шесть, и по наличию медицинских кадров Ардатовский уезд первый! Особенно сердце предводителя ласкало Хухорево, что в 35 верстах от Ардатова. Конечно, там все держалось на Воздвиженском. Но и роль земства преуменьшать не стоило. Хухорь по-здешнему «мельник». И шатровых ветряков, покрытых дранками, на селе было семь штук. Семейства объединялись по три-четыре — и ставили. Пшеницу дробили на крупчатку, рожь на раструсный помол и просо на толченое пшено из просорушек. Полвека назад в Присурье вертелось 175 водяных и 845 ветряных мельниц. Но Хухорево богатело — у отца-настоятеля гардероб состоял из 12 риз. Помещик Кермалов — либерал и прогрессист, гласный губернского земства. Янов и Галахов, обустроившие систему рыбоводных прудов, не давали селу заплошаты. Нет, не справедлив был писатель Гончаров, Хухорево выведший в образе Обломовки!

Больничку Воздвиженский, по сути, на свои деньги соорудил. Пожертвований первоначально собрал всего 800 целковых. Земские-то ни копейки не дали — не верили в затею, хотя доктор до Хухорева пять лет в земстве оттрубил, не чужой. Только когда князя Вадбольского попечителем избрали, дело сдвинулось. Крестьяне помогли. Десятину земли выделили, бревен привезли. Сперва на 4 койки открылось учреждение, потом до 10 доросло. И аптека, и операционная комната, и приемный покойчик, и кабинет смотровой, и амбулатория, и банька — с крестьян поступивших коросту отдирать. Кто убедил земство создать десятиверстный радиус лечебного обслуживания? Воздвиженский! На съезде врачей кто ярче всех выступал? Воздвиженский! Устав Врачебного Совета кто разработал? Воздвиженский! Одобрения губернского присутствия Устав тот не получил — дескать, работу

земских комиссий дублирует, но и что с того? Кто их слушает? Деньги-то в уезде собираются, какие ни на есть.

Нет, ардатовский доктор другой породы! Гордый, из поляков. Встретили его как родного. Станция в 10 верстах от города, но все уездное началие сквозь метель февральскую выдвинулось. Станционный смотритель Охотин чуть в обморок не хлопнулся. Чарыков, сам от себя не ожидая, хохотнул, воссоздав диковинные имена отпрысков смотрителя — Мелетины и Ювеналия. Словно Охотин приходился внуком Манилову. Сошел доктор с поезда, жену ни на шаг не отпускает, смотрит волком, росту исполинского и в очках к тому же. И заявление его дерзкое о предоставлении квартиры Владимир Иванович не забыл. Воздвиженский года четыре при больничке ютился с женой молодой. Стены на оконных косяках держались, в печах щели в руку. И не роптал! «Мужики, — говорил, — хуже живут». Народник, культурник, одно слово! Больница новичка не устроила, весь на претензии изошел. Оборудование плохое, фельдшер немыйтый. А у самого опыта совсем никакого! И чем ему больница ардатовская не угодила? 35 коек, не то что в Хухореве. Под хирургию изначально приспособлена. Но, правду сказать, врач от Бога. Оперировать начал с первого дня и трудится по 16 часов. Но не земской косточки. За народ живота не положит.

В столовую просунул голову лакей Гаврила и с чувством произнес:

— Пора, барин! Экипаж подан.

Владимир Иванович вздохнул и выдернул салфетку из-под пластрона. Надо было ехать открывать ярмарку.

Большие Монадыши, Кочкушь и Портовки, Вечкусы и Пичкасы. Загудаевка и Ляховка. Кому товар красный, кому из колоний, кому сошники пахотные, кому сырье, кому вот пенька, горшки и грабли, калачи и семена? Зачем ярмарка, когда окрест лавок три десятка и базар? Завозный склад — заведывающий Неудачин. Бакалея. Мучлавка. Вино-кондитерский магазин «Франция». Колбасное заведение. Кожевенная торговля Бдиля. Валяная обувь. Галантерейный магазин «Большая Катушка». Мануфактурный магазин и рядом, как зуб к зубу, — розничный магазин

сукон. И — без отдышки: «Москательный торг». «Москательная торговля «Унион», «Москательный магазин «Москатель». Здесь что, о конкуренции не слыхали? Слыхали, да из уха выпало. Как отцы жили, так и мы живем.

Магазин — себя прятать, бедность свою и ничтожество в карман убирать. Пришел — плати. Ярмарка — себя показать. Весь день ходи, ко всему приценийся, до икоты торгуйся, в жменю плюй, по рукам бей — и отходи порожно. Лавка — исповедь. Ярмарка — театр.

Где-погде у нас Ундоры? Здесь сам Великий Князь Алексей Александрович возжелал провести день ангела своего! От мала до велика притолклись ундорцы на пристани. Как же! Четвертый сын Царя-Освободителя, начальник флота, генерал-адмирал. И каждый к ручке подошел:

— С анделем, Ваше Инператорско Высочество!

— С анделем!

Ажно слезы, как трогнуло!

Обедню прослушал, голубчик, и молебен отстоял. Иерея удостоил посещением. 100 рублей на причт и 100 рублей на бедных пожаловал. Господский дом и суконную фабрику обследовал. Откушать изволил на пароходе. После обеда угощал крестьян апельсинами — косорылились, а жевали, сплевывая украдкой желтуху. Всякоразличных заедок скупил, сколько нашел, так что зубы у ребятишек слиплись. Девоч в лодки рассадил, чтоб с песнями плавали, а кто на берегу в оставе, те хороводы водили. Катался по селу верхи, в три избы зашел запросто, но тут косохлест ливанул, отвели Его Высочество в укрытие. Управляющего именем золотой булавкой одарил. Вот чего Ундоры видали! Кто ж знал тогда про Цусиму? Оговорили генерал-адмирала, причинником поставили. Была бы спина, будет и вина.

А шиловцы где, шиловцы из Тушнинской волости? Не по их ли земле течет родник «Понижное горлышко» в открытом поле и вдруг пропадает безвидно? А по дороге в Сенгилей не у них ли нашли кости человекии нечеловечьих размеров? Не в Шиловских ли горах мел добывают по 400000 пудов в год? Там и рабочих не надь, ямы меловые сдают крестьянам, те копают и свозят мел на пристань по копейке с пуда. Да 80 семей тем кормятся.

А Большие Березники где? Эй, сурские, выходи! Всё сурянки ладите с гусянками, расшивы, барки-полубарки мастерите? До полутыщи судов пристань Большеберезниковская принимает. Корапь на ярмарку не принесешь. А хлеб добрый из «карсунки-белицы» еще пекете? Из первых в России хлебец! Муку с ваших мукомолен аж в Петербург закупают. А где кузнецы, бондари, гончары, плотники, слесаря, рогожники? Все на своей, на ярлинской ярмарке? А каменщики, никак, на Дон подались? Бондари и печники в Астрахань ушастали? Кузнецы в Самару, шерстобиты знамениты в Саратов ушлепали? Или вас маклаушские сборолы войлочными шляпами да сапогами? Нет, маклаушские за Волгу собрались с товаром! Одни окольные торгуют, а они нам и в будни глаза понамозолили.

— А вот кому лудить-паять, сапоги тачать, бороды брить?

— Ах, не за тем и не за этим

Мы на ярманку идем!

Не крестьянские приуготовления, не рукоделья — качели-карусели да американские горы нас манят. Балаганы, райки да вертепы прельщают. Шатры брезентовые и доски неструганные, за которыми рыжие белых бьют и голы акробатки выпендривают.

Ходит, ходит по ярмарке мордочка, девочка-чумазлайка, косы неделями не плетены, ноги обутки не знают. Ходит-ходит, да и остановится:

— Не обмеривай, не обвешивай!

Дале двинется:

— Не обмеривай, не обвешивай!

— Ты чия така? — спросят посторонние.

Свои-то ее все знают. Она как и не растет словно. И год назад, и два — все одинакова.

— Божия, — девочка скажет.

И опять за свое:

— Не обмеривай, не обвешивай!

Один на нее гирю поднял — и упал подкошенный, самому себе замашкой в лоб закатал.

Торговец какой ее шуганет, а какой огурчик даст. Идет дальше, не ест огурчика.

— Как звать тебя?

— Маргаритою.

Что за имечко заморско? Опять:

— Чия?

— Божия!

А за девочкой дурак, Лутоня. Потеет страшно, льет с него, потому и Лутоня:

— Царя не будет! Царя не будет!

— Лутонюшка, где не будет Царя?

— Нигде не будет!

— А куда ж он денется?

— Убьют, спрячут! Убьют, спрячут!

Лутоню никто никогда не трогал, но тут немедля вывернулся городской Зелепукин, уже изрядно принявший, и погрозил «се-ледкой»:

— Ты мне агитацию брось! Нам революциев не надобно!

— Нет, нам новые порядки ни к чему, — с ним согласились выпившие. — Деды наши управлялись Царем, и мы без Царя жить не будем. Лутоня, выпей с нами! За Царя-батюшку! Да оботрись — мокрый, ровно хлющ.

— Не будете жить! Не будете! Пресмыкаться будете. Крови из вас выпьют ужоточки! — не унимался Лутоня.

— Не пужай! Японца не боялись!

— Ага, не боялись, — откуда-то взялся неизвестный в пинжаке. — То-то в плен полками сдавались.

Сказал — и сгинул.

— Своих бойтесь! Своих бойтесь! — кричал Лутоня.

— Уйди, Лутоня, наянливый какой!

Отошел недалеко, плачет. Или изопрел так?

А у цирка старик слепой стоит из года в год:

— Подайте, Христа ради! Я Пушкина видел!

Подают по грошику. Кто училище кончал, интересуется:

— Где ты Пушкина видел, старый? Во сне?

— Наяву видел! На почте в Ардатове. Логвинов я, помощник почтмейстера.

— Да Пушкина лет под семьдесят как нет.

Слепой опять:

— Подайте, Христа ради! Я Пушкина видел.

Что с ним поделаешь? Убогий! Посмеются — и в цирк по билету, дальше смеяться.

А тут уж было подрались:

— Пошто трогашься, я тебя не занимаю!

А там облупили раззяву мазурики, ему сочувствуют, об небо цокают:

— Да, крадежь нынче большая пошла.

— Сверху донизу, почитай, тибрят!

А то баба набузыкалась, хорошо ей, поет:

— Меня не вся деревня сушит —

Только маленький краёк,

Только маленький краёк —

Чернобровый паренёк.

Потешаются, пальцем показывают. Пьяная баба тут пока в диковину.

А девочка Маргарита позадумалась чтой-то и огурчика дареного откусила. Никогда не брала, а тут хрягнула. Поперек ей встал огурчик, не отдышит. Вичат все, за ноги взяли, трясут, а она синее, ровно голубь.

И тут какой-то здоровенный, с оглоблю, глаза в стеклах и с мадамою под ручку:

— Спокойно! Я врач!

Вырвал Маргариту у трясунов:

— Быстро полотенце или тряпку чистую!

Холстину с лабаза стянули. Он девочку спеленал, как нароженую. На лавку присел, Маргариту в коленках зажал, мадаме своей приказал:

— Платок дай! И держи!

А народу:

— Водки живо! И перо гусиное выдерните.

Думали, выпить хочет со страху. Поднесли. Гуся словили — их на ярмарке цельный ряд. А он достал ножик перочинный, перо обчистил, лезвие и перо казенкой облил и руки обе — что добра-то перевел! Мадама ему не по-нашему:

— Трахеотомия? Канюля?

Он кивнул и опять:

— Держи!

Та вцепилась, а он как режет Маргарите по шее и присосался.

Баба враз протрезвела:

— Упырь! Упырь!

А у стеклоглазого уже кусман огуречный в зубах. Сплюнул, перо в горло вставил, водкой рот ополоскал, Маргарита и задышала, зарозовела. Он ее на руки и своей мадаме:

— В больницу! Хорошо, что в бронхе не застрял.

Загомонили, опомнившись:

— Дохтур! Дохтур! Спаси Господь!

А Лутона, приблизившись:

— Епископ! Епископ! Кланяйтесь!

Дохтур на него глянул:

— Какой епископ? Я в храме год не был.

Лутоня вдруг высох, как обтертый:

— Благослови, Владыко! Вем, Господи, яко недостойне причащаюся Пречистаго Твоего Тела и честныя Твоя Крове, и повинен есмь, и суд себе ям и пию.

Дохтур приостановился:

— Что, что ты говоришь? Это же Василий Великий! Ты приходи в амбулаторию, анализы сдай. Гипергидроз у тебя.

Лутоня ему:

— Помрем — только Святое Причастие останется.

Дохтур:

— Что, что ты такое говоришь?

Как девочка отживела, все вперебой:

— Дурак он, дохтур! Несмысленый ничево.

Тот с высоты оглядел, аж мурахами обдало:

— Для меня нет ни дураков, ни умных. Только больные и здоровые. Последних немного.

И пошел с Маргаритой наперевес.

Ярмарка на уклон... Осень на носу...

Продолжение в следующем номере.